

© 2014 г. Ф.А. ЕЛОЕВА, Е.В. ПЕРЕХВАЛЬСКАЯ, Э. САУСВЕРДЕ

МЕТАФОРА И ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА (бывает ли язык без метафор)*

В статье рассматривается проблема универсальности концептуальной метафоры. Раскрывается роль метафоры как основного орудия выражения в языке новых значений, устанавливается связь метафоры с абстрактным мышлением человека, тем самым показывается, что метафора является не только фактом языка, но и фактом мышления. Таким образом, метафора рассматривается как важнейший когнитивный механизм, определяющий эвристическую функцию языка. Показывается принципиальное отличие метафоры как от метонимии, так и от сравнения. Связь метафоры с абстрактным мышлением определяет ее удельный вес в различных типах дискурса, а также в различных языках, что определяется сравнительной узостью / широтой сфер использования данного языка.

Ключевые слова: метафора, метонимия, сравнение, эвристическая функция языка, язык и мышление, язык и культура

The article discusses the problem of the universal character of conceptual metaphors. Metaphors are viewed as the main instrument which enables a language to express new meanings. Metaphors are regarded in their connection with an abstract thinking, therefore it is argued that metaphors are not language tools only, but also tools of thought. It is shown that metaphors constitute an important cognitive mechanism which determines the heuristic function of the language. Fundamental differences between metaphor and metonymy, metaphor and comparison are displayed. The close connection of metaphor with abstract thinking determines its relative weight in different types of discourse, and in different languages. The latter depends on the domains of a particular language usage.

Keywords: metaphor, metonymy, comparison, heuristic function of language and thought, language and culture

– *Now you see?*

– *Now I see.*

Charles Chaplin. City lights

ВВЕДЕНИЕ

Метафора и метонимия привлекали внимание людей с тех пор, как те задумались о языке. Со времен античности их удивляла возможность говорить одно, имея в виду нечто другое, причем слушатель, как правило, понимает говорящего, несмотря на очевидную алогичность высказывания.

Одно из первых определений метафоры находим у Аристотеля в «Поэтике»: «**Метафора – это приложение к одной вещи имени, принадлежащего другой**». Аристотель не только дает определение метафоры, но и предлагает свою теорию метафоры. Он пишет: «Мы можем приложить (а) имя рода к элементу рода, или (б) имя элемента рода приложить к роду, или (в) имя одного элемента рода приложить к другому элементу

* Исследование выполнено в рамках гранта НШ-575.2012.6 (Грант Президента РФ для поддержки ведущих научных школ «Школа общего языкознания Ю.С. Маслова»).

того же рода, или (г) перенос может основываться на пропорции» (цит. по: [Искусство метафоры]). Этот анализ оказывается созвучным современному представлению о когнитивной метафоре, однако в последующие века метафора чаще рассматривалась как один из тропов, т.е. как художественный прием. С такой точки зрения метафора оказывалась лишь средством придания выразительности художественному, преимущественно авторскому тексту. Многими исследователями признавалось и наличие «языковой метафоры»¹, которая определялась как стертый, утративший свою экспрессивность троп, при этом отдавалось должное этнокультурной стороне метафор, где усматривалась языковая индивидуальность, ср. [Склярская 1993].

Метафора в когнитивных лингвистических теориях характеризуется как процесс, в ходе которого один домен опыта осмысливается в терминах другого домена [Taylor 1989; Sweetser 1991, Knowles, Moon 2006]. Такое определение отличается от аристотелевского тем, что говорится не просто о приложении имени одного предмета к другому, но об отражении одного домена (сферы, области) опыта людей к другому домену.

В рамках когнитивной лингвистики метафора рассматривается как одно из основных средств человеческого мышления, как языкового, так, по-видимому, и внеязыкового. Постулируется прямая зависимость между способностью оперировать метафорами и способностью к абстрактному мышлению. Многие когнитивные лингвисты и психологи утверждают, что некоторые абстрактные понятия представлены в языке (и в мышлении?) только через метафорические репрезентации [Gibbs 2008: 147].

Когнитивные метафора и метонимия оказались теми механизмами (скорее всего, не единственными, но одними из главных), которые отличают человеческий язык как от систем коммуникации животных, так и от компьютерных алгоритмических процессов. Следовательно, создание «искусственного интеллекта» будет возможно только тогда, когда машина сможет произвольно создавать метафоры и метонимии, а также понимать новые, созданные «товарищем по разуму». Возможно, это невыполнимая задача².

Изучение когнитивной метафоры началось значительно ранее выхода знаменитой книги Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Lakoff, Johnson 1980], однако именно появление «Метафор, которыми мы живем» стало точкой отсчета, с которой началось фронтальное исследование метафоры в русле когнитивной лингвистики.

Обаяние когнитивной лингвистики как раз во многом и определяется гипотезой Джонсона и Лакоффа, а также совершенно новым взглядом на метафору. Метафора воспринимается как важный механизм структурирования понятийной системы человека. С точки зрения Лакоффа и Джонсона, метафоры как языковые явления отображают базовый когнитивный процесс, причем главную роль в мыслительных процессах человека играют не формализованные процедуры вывода, а аналогия, т.е. перенос значения из одной содержательной области в другую. Метафора представляется как языковое отображение аналоговых процессов человеческого мышления.

Для когнитивной лингвистики характерно неприятие объективистского подхода к вопросам значения, понимания и истины, напротив, внимание исследователей сосредоточено на рассмотрении понятийной системы человека, причем ее анализ основывается на языковых данных. Важнейшую роль в понятийной системе человека, с точки зрения Лакоффа и Джонсона, играют концептуальные метафоры, которые воспринимаются ими как универсальные, имманентно присущие понятийной системе человека вообще.

В результате в течение последних десятилетий теория метафоры неожиданно вышла на первый план лингвистической проблематики как область знания, непосредственно

¹ «Языковая метафора имеет системный характер, объективна, выполняет коммуникативную функцию, «анонимна», воспроизводима». Художественная метафора «неотъемлема от своего текстового окружения, в котором только и может быть определена ее семантическая сущность» [Склярская 1993: 35–37].

² Существуют попытки компьютерной обработки метафор, в частности метафор, связанных с переносом «вверх» или «вниз» по иерархии, однако это лишь частный случай метафорических переносов.

связанная с вопросами соотношения языка и мышления, языка и познания. Полемика в этой области когнитивной лингвистики ведется обычно по двум направлениям:

1) является ли концептуальная метафора имманентным свойством человеческого разума;

2) является ли сравнение, метафора и гипербола явлениями одного порядка или они различаются глубинными семантическими структурами.

Приступая к написанию первого варианта этой статьи, мы ставили перед собой задачу проанализировать, каким образом развивается метафорический характер языка в ситуации языковой смерти, языкового сдвига или полуязычия³. При этом мы основывались на общепринятом положении о двусторонней направленности движения в перспективе «мысль $\leftrightarrow$ язык».

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Первоначально анализ концептуальных метафор проводился на материале нескольких языков: идиш, удэгейского и ороцкого, русско-китайского пиджина, понтийского диалекта новогреческого языка (Краснодарский край), северно-русского диалекта цыганского языка. Все проводимые исследования определенным образом были связаны с проблематикой «языкового сдвига». Наряду с увеличением роли аналогии, общей тенденцией к упрощению системы, заменой гипотаксиса на паратаксис было отмечено значительное сокращение роли и сферы употребления метафоры. Поскольку метафорический механизм является основным условием когнитивного языкового процесса, а в ситуации так называемого языкового сдвига когнитивная функция языка практически утрачивается, было сделано предположение о связи утраты метафор в языке с явлением языковой смерти [Елоева, Перехвальская 2001; 2004]. Первоначально эти результаты представлялись вполне убедительными, однако впоследствии анализ данных удэгейского языка в его «полной» форме (записи первой половины XX столетия), а также анализ записей разговорной речи носителей русских диалектов продемонстрировали практически тотальное отсутствие концептуальных метафор в этих идиомах. Общим у данных языков является то, что перед нами бесписьменные идиомы, призванные обслуживать достаточно узкие коммуникативные ситуации (повседневное общение). Таким образом, представляется, что материалы по исчезающим языкам (понтийский и приазовский диалекты новогреческого языка, идиш, ороцкий язык) в сопоставлении с материалами языков, не затронутых языковым сдвигом (удэгейский в его «полной» форме, индейские языки, малые языки Западной Африки), и материалом диалектной разговорной речи дают примерно одинаковую картину в отношении степени «метафоричности» языка.

Все это дало нам возможность высказать гипотезу о существовании идиомов (языков, вариантов языка, регистров) с малым удельным весом метафор.

МЕТАФОРА И ДИСКУРС

Итак, сравнение текстов одного и того же языка, записанных в ситуации, когда речи о языковом сдвиге, безусловно, не было (сопоставление понтийских материалов, записанных в ситуации полуязычия, с текстами сказок, записанных в Малой Азии в 1910 г., с одной стороны, и «современных» и «старых» удэгейских текстов, с другой) показало, что данные тексты принципиально не различаются уровнем метафоричности. На основании проведенного сопоставления нами было сделано предположение, что уровень метафоричности определяется функциональным стилем,

³ Под «полуязычием» понимается радикальное сокращение сферы языковой компетенции первого языка в сочетании с недостаточным уровнем языковой компетенции второго языка в условиях специфических социолингвистических условий – языковой изоляции, социального выпадения и т.д.

т. е. преметафорическое (преимущественно метонимическое) языковое сознание не исчезает, а продолжает существовать на определенных языковых уровнях.

Авторы ни в коей мере не хотели бы получить упрек в предвзятости на основании того, будто они считают, что одни языки «лучше» других. Как показывают исследования языков тех народов, которые находятся на сравнительно менее развитой ступени социального и технологического развития, грамматическая система таких языков не менее, а часто и значительно более сложна, нежели грамматика языков европейского стандарта⁴.

Бурно развивавшиеся в последние десятилетия типологические исследования показали, что основной набор логических значений, таких как время, таксис, аспект, число, глагольная множественность и т.д., может быть передан в любом языке независимо от того, выражены ли эти значения отдельной специальной граммемой, выражаются ли они кумулятивно с другими грамматическими значениями или просто лексически (см., например, сборники, изданные ленинградской типологической школой). Возможно, имеет смысл говорить о каком-то наборе универсально выражаемых грамматических значений [Плунгян 2011].

В этом отношении следует сказать, что каждый язык имеет грандиозный потенциал, который, на этом мы хотели бы заострить внимание, используется далеко не полностью.

Язык, однако, не ограничивается фонологической и грамматической системой. И если указанные языковые уровни можно рассматривать изолированно, как бы отрывая их от говорящих на данном языке людей, то при переходе к исследованию смыслов, которые конкретный язык способен передать и передает, мы неизбежно поворачиваемся к людям, говорящим на этом языке, к их культуре (под этим словом мы будем понимать всю совокупность ментальных представлений и поведенческих практик конкретного сообщества людей).

Оказывается, что по способности передавать смыслы языки не равны. Этот факт отмечается многими исследователями конкретных языков, однако чаще всего это точечные наблюдения, о которых мы узнаем обычно в виде «личного сообщения». Об этом трудно писать, поскольку разрозненные наблюдения нелегко привести в систему, что необходимо для того, чтобы исследование имело доказательную силу. Например, просьба перевести на язык муан фразу *Небо голубое* (стимул: *Le ciel est bleu*), вызвала у информанта затруднение, поскольку в языке муан нет цветообозначения 'голубой/синий'; имеются слова только для цветов 'белый', 'черный' и 'красный' (вторая стадия по Берлину и Кею [Berlin, Kay 1969]). Передать требуемый смысл на муан невозможно. С такого рода проблемами сталкиваются многие исследователи бесписьменных языков. Еще один пример. В анкете, специально составленной для изучения словарного состава африканских языков [Bouquieux, Thomas 1976], имеется немало стимулов, которые не могут быть переведены на язык муан. Например, стимул *Le paysage se baigne dans les rayons du soleil* (букв. 'Пейзаж купается в лучах солнца'). В муан отсутствует не только слово со значением 'пейзаж, панорама', но и слово 'луч (солнца)' – это значение не выделяется в семантическом поле «солнечный свет», нет и глагола 'купаться' (в муан отсутствует даже специализированная лексема 'плавать', соответствующее значение передается метафорическим выражением *yì ká* 'резать воду').

В бесписьменных языках, обслуживающих небольшие замкнутые языковые коллективы, отсутствует практика вербализации (словесного описания) многих сторон окружающего мира. Это определяется заданностью и рутинностью жизни данного коллектива. Цикличность времени определяет повторяемость событий, ситуаций, участников. Поэтому для описания ситуации достаточно указания на фрейм: «идет дождь», «сухой сезон», «поле», «дом», – и слушающий представляет все необходимые детали. Это характерно и для фольклора. В своем исследовании «Мир саги» М.И. Стеблин-

⁴ Standard Everage European – термин Уорфа, снова взятый на вооружение современной лингвистикой [Уорф 1960].

Каменский отмечает характерное для исландских саг практически полное отсутствие описаний природы: «Поэтому те редчайшие и совершенно нетипичные случаи, когда в саге есть что-то вроде пейзажа, очень бросаются в глаза» [Стеблин-Каменский 2003: 168]. В качестве примера он приводит знаменитые слова Гуннара из Хлидаренди: «Как красив этот склон! Таким красивым я его еще никогда не видел – желтые поля и скошенные луга...» [Там же]. Михаил Иванович Стеблин-Каменский, безусловно, выдающийся исследователь скандинавского эпоса, блестящий переводчик саг и чрезвычайно внимательный читатель. Тем не менее нам кажется, что его комментарий является собой интересный пример эмпатии, когда исследуемый материал оказывает влияние на исследователя. Так, комментируя данный пассаж, он отказывается принимать его как сознательный художественный прием, считая его абсолютно случайным. Более того, продолжая свое рассуждение, автор делает неожиданное заключение о том, что «в реалистической литературе нового времени пейзаж возник как литературная условность... Отсутствие пейзажа в литературе может осознаваться как близость к жизненной правде уже потому, что в жизни никогда не наблюдается такое подчеркнутое внимание к нему, какое часто имеет место в литературе. В жизни внимание к пейзажу – это обычно реминисценции из литературы и живописи, а не непосредственная реакция человека на окружающую природу» [Там же]. С этой точки зрения описание природы (вербализация одной из сторон реальности) представляется как свойственное исключительно развитой письменной культуре. Возможно, один из путей формирования этой способности – возникновение системы постоянных эпитетов, таких как «розовошерстная Эос» и «тонконогие овцы» у Гомера.

Исследования языков с этой точки зрения только начинаются. Можно упомянуть сборники [Aquamation 2007; Концепт *боль* 2009] и другие исследования, проводимые группой Е.В. Рахилиной. С другой стороны, стоит вспомнить и старую американскую этнолингвистику, важнейшими представителями которой были Франц Боас, Эдвард Сепир и Бенджамин Уорф (см., например, статьи Сепира «Два навахских каламбура» и «Аномальные речевые приемы в нутка» в [Сепир 1993]).

Теория метафоры дает основу для того, чтобы сформулировать, по крайней мере, один из аспектов неравноценности языков в их способности передавать смыслы. Разумеется, отсутствие / наличие метафор, как художественных, так и когнитивных, напрямую связано с дискурсом. В статье, посвященной этой проблематике, Н.Д. Арутюнова пишет:

При обращении к практической речи бросается в глаза не всеприсутствие метафоры, а ее неуместность, неудобство и даже недопустимость в целом ряде функциональных стилей. Так, несмотря на семантическую емкость метафоры, ей нет места в языке телеграмм, текст которых сжимается отнюдь не за счет метафоризации [Арутюнова 1990: 6].

Действительно, метафора оказывается нехарактерной для определенных типов дискурса. И дело не в художественности текста; как будет показано ниже, метафоры являются неотъемлемым признаком газетных, научных, публицистических текстов. Напротив, их почти нет в фольклоре (не только в сагах, но и в народных сказках, вспомним, «Курычку Рябу» или «Колобка»).

Отсутствие (малое количество) метафор сигнализирует о таком дискурсе, в котором:

- у людей отсутствует необходимость говорить на абстрактные темы;
- отсутствует необходимость вербализации окружающего мира.

Такой тип дискурсов есть в любом языке. Однако в языках с ограниченными функциональными доменами существуют только такие дискурсы. Эта ситуация напрямую связана с культурой той группы, которую данный язык обслуживает. Отсутствие необходимости вербализации окружающего мира связано с однообразием окружающего, повторяемостью ситуаций (цикличность времени), отсутствием письменной культуры. Люди не говорят (и не думают) на абстрактные темы – в таком обществе нет науки

как системы отвлеченных знаний, и оно не способно (в таком своём состоянии) породить науку (или, по крайней мере, преднаучные знания накапливаются чрезвычайно медленно с тем, чтобы впоследствии в результате диалектического скачка дать начало науке).

ИСТОКИ МЕТАФОРЫ

Существует представление о том, что метафора возникает из сравнения и может быть свернута в сравнение [Скляревская 1993]. Как будет показано ниже, метафора и сравнение с когнитивной точки зрения представляют собой разные явления. Далеко не каждая метафора может быть представлена как сравнение. Сходство со сравнением, возможно, касается большинства (или некоторых?) художественных метафор, ср. у Маяковского: *живот подведя, плелась безработица*⁵ или у Томаса Элиота: *The yellow fog that rubs its back upon the window panes* 'Желтый туман, что чешет спину о стекла окон' (цит. по [Gibbs 2008: 272]). Если эти метафоры и можно превратить в сравнения (безработица плетется как нищенка, туман трется как кот), то представляется чрезвычайно сомнительной возможность превращения в сравнение базовых метафор, например, метафоры БОЛЬШЕ = ВЫШЕ, проявляющуюся в таких конкретных выражениях, как *цены поднялись, численность резко упала*; или базовой метафоры ЗНАТЬ = ВИДЕТЬ (ср. конкретные выражения: *вам ясно? прозрачный текст; ученье свет, а неученье тьма*). Базовые метафоры не могут быть представлены в виде сравнений, а именно они и составляют когнитивную основу освоения человеком окружающего мира.

Человек постепенно вырабатывает абстрактные понятия, о которых он не может говорить иначе, чем метафорически. Например, у людей нет отдельного не-метафорического концепта «любовь», а есть метафоры, выражающие это понятие [Gibbs 2008: 147]. Как и другие чувства и эмоции, любовь может уподобляться неким жидкостям, заполняющим человека [Kövecses 2000]. Интенсивность чувств передается, в частности, через температурные метафоры [Копчевская-Тамм, Рахилина 1999].

Исландские саги дают возможность проследить, как рождается метафора, которая не восходит к сравнению. В одной из саг об исландцах рассказывается, как Тордис (героиня) вдруг видит, что человек большого роста въезжает во двор. Узнав человека, она сказала: «Сколько солнца и ветра с юга, и Сёрли въезжает во двор!» Эти слова обычно считаются единственным в своем роде поэтическим выражением романического чувства в «сагах об исландцах». Интересно, что Стеблин-Каменский отказывался интерпретировать их как выражение любви. Он пишет:

Но слова Тордис приводятся только потому, что весь рассказ состоит только из слов, сказанных кем-то, и поэтичность их, вероятно, случайна. Нигде больше в нем нет и намека на романические чувства, если не считать, конечно, что они подразумеваются, поскольку Сёрли сватается к Тордис, но едва ли они казались подразумеваемыми исландцам 13 века [Стеблин-Каменский 2003: 176].

Однако нам кажется, что в данном случае речь идет о поэтическом открытии автора саги, к которому новая литература приходит значительно позже, но которая потенциально заложена в человеческой сущности, так же как заложена метафора и способность к абстрактному мышлению. В данном пассаже из саги автор уподобляет два разных домена – области чувств и эмоций человека и прекрасной погоды (солнце и теплый ветер с юга).

⁵ Эта метафора «явно работает на конкретность образа-олицетворения (подсказывается ассоциация «подпоясав живот»)» [Гаспаров 1995: 368].

МЕТАФОРА И МЕТОНИМИЯ

Вслед за Соссюром мы соотносим метафорический способ мышления с парадигматическим осмыслением действительности, а метонимический – с синтагматическим. Фердинанд де Соссюр был первым, кто сформулировал понятие о парадигматических (по терминологии самого Соссюра – ассоциативных) связях *in absentia* и синтагматических связях *in praesentia* как об основе языкового восприятия. Эвристическая функция метафоры и ее роль в феномене научного открытия находятся сейчас в фокусе внимания исследователей. Безусловно, образ парадигматическо-синтагматической сетки, накладываемой на реальную действительность, сам по себе носит в известной степени метафорический характер. Идея о синтагматике и парадигматике начинает играть роль, которую невозможно переоценить, в самых разных науках и становится общим местом любого лингвистического (и не только) рассуждения.

Поскольку это важно для дальнейшего рассуждения, мы позволим себе обратиться к Соссюру (в тех смутных пределах возможности соприкосновения с реальным Соссюром, которые предоставляет нам «Курс общей лингвистики») и в дальнейшем будем отталкиваться от формулировок, предположительно восходящих к Соссюру.

Под синтагматическими Соссюр понимает «отношения, основанные на линейном характере языка, который исключает произнесение двух элементов одновременно» [Соссюр 1977: 155]. Парадигматические отношения «имеют совершенно другой характер, они не опираются на протяженность, локализируются в мозгу и принадлежат хранящемуся в памяти у индивида сокровищу, которое и есть язык»; и еще:

Синтагма сразу вызывает представление о последовательности и определенном числе сменяющих друг друга элементов. Члены, составляющие ассоциативную группу, не даны в сознании ни в определенном количестве, ни в определенном порядке [Там же: 156].

Далее Соссюр оговаривает, что второе правило может быть нарушено, если мы имеем дело со словоизменительной парадигмой. Ассоциативные отношения соединяют члены отношения в виртуальный мнемонический ряд [Там же: 158–159].

Характерно, что в своем рассуждении Соссюр ограничивается этим указанием на различия парадигматического и синтагматического ряда, в данном случае его интересует синхронное описание языкового механизма; проблема же того, может ли план синтагматики быть изначально задан, а план парадигматики возникать впоследствии, совершенно не занимает Соссюра. Языковую ситуацию он сравнивает с шахматной доской в момент игры, и ему представляется нерелевантной последовательность ходов и предыстория игры. Ниже мы постараемся показать, что для определенных этапов языкового развития и для некоторых функциональных стилей план синтагматики безусловно превалирует над планом парадигматики.

Часто цитируется чрезвычайно эффектная статья Романа Jakobson «Два аспекта языка и два типа афатических нарушений» [Jakobson 1990]. Jakobson, которого часто упрекают в излишней схематизации и склонности к упрощению фактов, по всей вероятности, именно в силу этих качеств обладал редкой способностью к предельно ясным формулировкам и убедительным обобщениям. В своей статье он противопоставляет две операции речевого порождения и восприятия – «отбор определенных языковых единиц и их комбинирование» [Там же: 112]. В данном случае он продолжает мысль Соссюра о том, что для языкового мышления характерен «путь фиксации и выбора». Обращаясь к классификации многочисленных типов афазий, Jakobson отмечает необходимость выявления общих черт при сравнении детского языка и афазий и говорит о том, что речевые расстройства могут в разной степени поражать способность индивида к комбинации и селекции, что определенным образом коррелирует со способностью к кодированию (эмиссивная афазия) и декодированию (рецессивная афазия). Призывая рассматривать афазию как лингвистическую проблему, Jakobson противопоставляет две группы нарушений – нарушение отношений смежности и нарушение отношений подобия, причем

синтагматический ряд он определяет как ось обиходного контекста (а также способности к комбинированию и контекстной композиции), а парадигматический ряд – как ось субституции и селекции. Далее эта дихотомия распространяется на результаты известного психолингвистического эксперимента, в ходе которого детям предлагались словестимулы и регистрировалась реакция на них. Дети реагировали либо субститутивно (замена стимула, ср.: *HUT* → *cabin*), либо предикативно (дополнение к стимулу, ср.: *HUT* → *burnt*).

Таким образом, мы снова имеем дело с противопоставлением: метафорический – метонимический ряд, подобие – смежность, парадигматика – синтагматика. И, наконец, очерчивая «метафорический и метонимический полюсы» и демонстрируя замечательные способности к мышлению по аналогии, Якобсон подобным же образом анализирует особенности формирования личного стиля индивида, проявляющиеся в «способах обращения с этими двумя видами связи (сходством и смежностью) в обоих их аспектах (позиционном и семантическом)» [Там же: 127].

Далее эта аналогия переносится на анализ литературных стилей, моделей стихосложения, требующих обязательного параллелизма в смежных стихах, устной традиции и т. д. Главенство метафоры в литературных школах романтизма и символизма – факт, отмечавшийся неоднократно, но именно Якобсон первым заметил, что

...господство метонимии лежит в основе так называемого “реалистического” направления и предопределяет развитие этого направления, которое относится к промежуточной стадии между упадком романтизма и началом символизма и противопоставлено и тому и другому [Там же: 127].

Замечательно интересно его рассуждение о метонимичности, определяющей стиль Л.Н. Толстого:

Следуя по пути, предопределяемому отношением смежности, автор, – сторонник реалистического направления метонимически отклоняется от фабулы к обстановке, а от персонажей – к пространственно-временному фону [Там же: 127].

Интересно, что И. Бродский, видимо, не обращаясь к статье, Якобсона, в своем эссе «Катастрофы в воздухе» говорит примерно о том же, о «всепоглощающей тени описательной прозы», о том, что

...русская проза пошла за Толстым, с радостью избавив себя от восхождения на духовные высоты Достоевского. Она пошла вниз по извилистой истоптанной дороге миметического (метонимического) письма и через несколько ступеней <...> скатилась в яму социалистического реализма [Бродский 1999: 195].

По Якобсону, проза чаще характеризуется отношениями смежности, а поэзия – отношениями сходства. Конкуренция между двумя механизмами поведения – метафорическим и метонимическим – проявляется, по Якобсону, в любом символическом процессе – как внутриличностном, так и социальном. Это относится и к исследованиям структуры снов Фрейдом. Символы сна делятся на две категории: метонимическое «замещение» и синекдохическое «сжатие», с одной стороны, и метафорическое «тождество» и «символизм» – с другой. Та же дихотомия прослеживается и в классификации типов заговоров, предложенной Фрэзером. В конце своей статьи Якобсон пытается ответить на вопрос, отчего метафорическая ось гораздо лучше описана на уровне метаязыка, чем метонимическая, и «реальная двухполюсность заменяется ущербной однополюсной системой». В нашем последующем рассуждении, опираясь на совершенно иной языковой материал, мы также попытаемся ответить на этот вопрос.

Анализ языков, обслуживающих те культуры, где не развиты абстрактные дискурсы, показывает, что когнитивная метонимия оказывается более распространенным механизмом образования новых значений слова, что связано с особенностями осмысле-

ния окружающего людей мира. Вот примеры из многотомной «Энциклопедии пигмеев ака»⁶. Значения слова *.mbili* [Thomas et al. 2001: 25–26]:

1. Лекарственный порошок или мазь. Лекарство, состоящее из различных порошков, смешанных с пальмовым маслом. Порошки делаются из высушенных растертых растений с добавлением фрагментов костей или кожи животных, также обугленных и растертых. Эти сложные смеси используются гадателями-врачевателями, а их приготовление остается неизвестным для обычных людей.

2. Смесь горшечной сажи и жидкости, вытекающей из старых батареек, которая в наши дни используется для скарификации (нанесения с эстетическими целями шрамов).

3. Растения, которые являются компонентами данной лекарственной мази.

4. Скарификация, сделанная при помощи этой мази.

5. Памятное событие, в знак которого сделана данная скарификация.

Различные значения слова *.mbili* связаны отношением метонимии (сходство по смежности), что не очень характерно для европейских языков. Это, безусловно, связано с категоризацией мира, свойственной пигмеям ака.

Ранее высказывалось мнение, что метонимия является «более фундаментальным» инструментом осмысления действительности человеком, чем метафора. Так, Антонио Барселона предположил, что «любому метафорическому переносу предшествует метонимический перенос» [Barcelona 2000: 31]. Действительно, некоторые базовые метафоры по существу являются метонимиями. Ср., например, упоминавшуюся метафору БОЛЬШЕ=ВЫШЕ. Очевидным образом она обусловлена эмпирическим фактом: куча предметов, сложенных друг на друга, тем выше, чем их больше (куча земли, куча картошки и т. п.). Следующий шаг: чем предметов (картошки) больше, тем лучше. Отсюда метонимическая связь ВЫШЕ → БОЛЬШЕ → ЛУЧШЕ. В дальнейшем эти метонимии утрачивают предметную связь и становятся метафорами. То же самое касается и других базовых метафор, в частности связанных с метафорическим переносом пяти типов перцепции; см., например, [Ibarretxe-Antuñano 1999].

Нашу гипотезу можно сформулировать следующим образом: несмотря на то, что как синтагматический, так и парадигматический способы осмысления действительности являются имманентными свойствами человеческого разума, необходимость в парадигматическом способе осмысления возникает только на определенном уровне развития, будь то онтогенез (детская речь) или филогенез.

ОНТОГЕНЕЗ И ФИЛОГЕНЕЗ

Известно, что отождествление стадий и механизмов развития отдельного человека и исторического развития вида *homo sapiens* далеко не всегда верно и может привести к ложным выводам, тем не менее некий параллелизм этих процессов не вызывает сомнений у большинства исследователей. По справедливому замечанию Р.М. Фрумкиной, детская речь и детская психология, мышление ребенка привлекают столь большое внимание именно потому, что, изучая его, мы стремимся узнать о языке, мышлении и т. п. человека вообще, а также о том, как складывалось мышление человека, как появился язык [Фрумкина 2001: 104–106].

Поэтому для нашего исследования данные, полученные путем анализа детской речи, являются косвенным доказательством справедливости нашей теории о существовании премеафорического периода в истории языка и языков.

⁶ Энциклопедия публикуется с 1983 г. К настоящему моменту вышло четыре тома, посвященных разным аспектам языка и культуры пигмеев ака, а также десять томов словаря (10-й том появился в 2011 г., но издание на этом не закончилось). Полное название этого грандиозного труда: «Энциклопедия пигмеев ака – технологий, языка и общества охотников-собирателей центрально-африканских лесов». По существу это многотомный словарь (серия II) и серия монографий.

По-видимому, древнейшей формой языка были характерные для детской речи слова-высказывания, описывающие всю ситуацию в целом. Например, слово *ня* у ребенка полутора лет означает всю ситуацию передачи предмета от одного человека другому. Этим словом называется и сам передаваемый предмет, и приглашение получить его (соответствует русскому *на*), и желание его получить (соответствует *дай*). Подобные слова (индексы, по терминологии Ч.С. Пирса [Пирс 2001: 166–167]) весьма частотны в языках. Обычно они описываются термином «ideophones» или «onomatopoeic words» (русские термины «звукоподражание» и «междометие» не отражают их сущности, сейчас их все чаще называют **идеофонами**). Их почти нет в европейских языках, но не потому, что они более «развиты». По-видимому, подобные слова существовали в европейских языках в прошлом, однако исчезли под давлением письменной традиции. Они очень плохо поддаются передаче на письме, поскольку, как правило, связаны с несегментными признаками речи, в ряде случаев с мимикой и жестикуляцией. Однако в японском языке такие слова сохранились и культивируются. Например, есть слово со значением ‘звук палочек, стучающихся о края фарфоровой чашки с рисом во время еды’. Приведем пример из более знакомого нам удэгейского языка. В нем имеются, например, такие слова: *suar-suar* ‘шум, который производит речная вода, скатываясь с ветвистых рогов изюбря-самца, когда тот поедает особого вида водяные растения, растущие на мелководье’. Данное слово еще можно считать звукоподражанием, но в удэгейском языке имеются также и следующие слова: *piñarr* ‘впечатление от черного дыма, поднимающегося из дымохода вертикально вверх’, *wembek-wembek* ‘вразвалку, переваливаясь (о ходьбе полного неуклюжего человека, чаще женщины)’. Оба эти слова выделяются своим обликом: в первом имеется гемината фонемы /r/, что совсем не характерно для данного языка, во втором случае представлена редупликация, встречающаяся в удэгейском преимущественно в словах данного типа (подробнее об идеофонах удэгейского языка см. [Тольская 2009; Tolskaya 2011]). И хотя данные слова переведены на русский язык разными частями речи (существительным, деепричастием), по-удэгейски они принадлежат к классу «onomatopoeic words», описывающих ситуацию в целом. Это как бы слова-картинки, которые точному, неописательному переводу на русский язык не подлежат.

Употребление слов, обозначающих ситуацию в целом, характерно и для детской речи, см. [Воейкова, Чистович 1994]. Можно предположить, что в языках древнего человека таких слов могло быть значительно больше и что именно из таких слов, описывающих ситуацию в целом, и состоял первоначально человеческий язык. При этом данные слова-картинки не были в чистом виде звукоподражательными, не основывались на произвольных выкриках и т.п. Они были произвольны, как и любой другой языковой знак. В этом смысле язык, состоящий из подобного рода слов-картинок, являлся в полной мере человеческим языком.

Разумеется, мы понимаем, что данные современных языков, даже взятые вкуче с данными онтогенеза речи, не могут служить окончательным доказательством высказанной гипотезы, однако они в значительной степени ее поддерживают.

Для нашего исследования важным выводом из гипотезы о первичности в языке слов-картинок является то, что это практически праметафорическая стадия в чистом виде. Здесь нет места метафоре, поскольку для переноса какого-то признака, действия, состояния на другой предмет необходимо выделение данного признака, т. е. его абстрагирование. Для того чтобы на некотором языке можно было сказать *зеленая тоска*, необходимо, чтобы в этом языке было цветообозначение *зеленый*. Известно, что дети не воспринимают такие слова как обозначения цвета в принципе. «Мячик красный» относится в речи (и сознании) ребенка к совершенно конкретному мячику, которому присуще его индивидуальное свойство «быть красным».

Дети, однако, постепенно учатся абстрагированию. В то же время замечено, что существует поразительный контраст между быстротой, с которой они овладевают языком любого строя, и длительностью овладения абстрактным мышлением, см. [Пиаже 1994].

Эксперименты, проводившиеся А.Р. Лурией в сельских районах Узбекистана, показывают, что и взрослые, не будучи поставлены в условия, способствующие развитию навыков абстрактного мышления, также не овладевают в полной мере приемами абстрагирования [Лурия 1982: 47–69]. Если вслед за Н. Хомским постулировать врожденные языковые модули у человека, то приходится констатировать, что врожденной способности к абстрактному мышлению у него нет. При этом речь идет о взрослых, психически полноценных людях, занятых трудовой деятельностью. Их повседневная жизнь и обязанности не требуют особого развития абстрактного мышления, и они прекрасно обходятся предметно-конкретным восприятием действительности. Следовательно, способность к абстрактному мышлению не является чем-то жизненно необходимым для выживания человека. Если это действительно так, – а на это указывают данные, полученные психологами, изучающими мышление ребенка и мышление людей, не получивших образования, – то можно сделать вывод о том, что абстрактного мышления не было и у человека древности. Навыки и способы абстрактного мышления вырабатывались человечеством веками подобно тому, как постепенно накапливались знания, создавались наука, техника, искусство.

УНИВЕРСАЛЬНЫ ЛИ БАЗОВЫЕ МЕТАФОРЫ?

Как указывали Лакофф и Джонсон, об абстрактном мы можем думать только метафорически. Например, о такой сугубо абстрактной вещи, как «время», человек может размышлять, только представив себе время как нечто конкретное: линию в системе координат, течение водного потока, дорогу, страничку из дневника и т.п. Все это метафорическое представление «времени». В разных ситуациях один и тот же человек будет пользоваться разными метафорами. Когда мы говорим: *Я только зря потратил время*, актуализируется метафорическое представление о «времени» как о ценности, которая каждому «отпускается» в ограниченном и конечном количестве.

Медленно минуты проплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя нам прошлого немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди.

Всем знакомая песенка крокодила Гены отражает базовые представления о времени у говорящих по-русски. Минуты, о которых поет Гена – это единицы измерения времени. Они движутся мимо говорящего и исчезают из поля его зрения – «проплывают вдаль». Говорящий как бы стоит на месте, а время движется мимо, подобно потоку. Этот поток однонаправлен и линеен, поэтому единицы времени исчезают безвозвратно. Поток времени делится на будущее (вверх по течению), настоящее (точка, где стоит говорящий) и прошлое (поток вниз по течению от говорящего). Говорящий обращен лицом к будущему – оно находится «впереди». При этом он духовно также ориентирован на будущее – «лучшее впереди».

В любом случае, говоря или думая о понятии «время», мы пользуемся одной из концептуальных метафор. Так, В.Б. Касевич отмечает принципиальную «исконность пространственных представлений и метафоричность временных... Динамическое соотношение человека и времени язык метафорически уподобляет передвижению в пространстве» [Касевич 1996: 225].

То же самое происходит и с любым другим абстрактным понятием. Следовательно, развитие абстрактного мышления с неизбежностью ведет к появлению большого количества концептуальных метафор, которые, как правило, не осознаются как таковые. Соответственно при превалировании конкретно-предметного мышления метафоры оказываются редкими. Приведем пример из интервью, записанного нами в селе Чертеж Вашкинского района Вологодской области:

<Как это вы скотину «обряжаете»?>

Да, обряжааа скотинку-то. А вот приносим да накладывааа, поим. Ведерко наладим и поне-сем обряжать. Напою коровушку, дам да, потом мыть буду. И так и теленочка. Напоим, ведерочко наладим, попил, еще сенца даем. Все. Обрядил уже парень, сын мой.

У меня самой вот девки приедут из Ленинграда все, какие слова скажу дак, старинные слова-то какие, дак «бабушка, чего говоришь-то ты?» Либо «мама, чего ты говоришь-то, какие слова-то?» А мне интересно, что им непонятно.

В данном отрывке содержится объяснение значения диалектного слова *обряжать* 'кормить, ухаживать', за которым следует рассуждение о том, что в селе вообще говорят иначе, чем в городе. Информантка прекрасно отдает себе отчет в том, что наш вопрос связан с непониманием диалектизма. Она воспринимает диалектную лексику как архаическую, «старинную». Но абстрактного рассуждения о вариантах языка не получается. Рассуждение ведется методом «приведения примеров», т. е. используется способ «когнитивной метонимии», иначе говоря, мышления прецедентами. Метафор в данном отрывке нет ни одной. Нет даже употребления слов в иных значениях, кроме прямого. *Налаживать* (т. е. 'накладывать') *ведерко* и *обряжать скотину* – не слова с переносным значением, а диалектизмы.

Поскольку Лакофф и Джонсон особое внимание уделяли метафорическому представлению времени и оно же стало краеугольным камнем концепции Б. Уорфа, мы проверили наши полевые записи, сделанные в Вашкинском районе Вологодской области, на наличие лексемы *время*. На 43 142 слова зарегистрировано 34 случая употребления лексемы *время* (т. е. одно на 1 269 слов), а именно:

все время	18
в это время	8
в то время	1
и в то же время	1
какое-то время	1
через несколько время	1
и через сколько время [нашелся]	1
сколько там время [ей дали]	1
вот какого время [он погиб]	1
время было [второй час]	1

Чаще всего данная лексема выступает в составе выражения *все время*, т. е. в значении 'постоянно, всегда'. На него приходится более половины случаев употребления слова *время*. Интересно, что информанты ни разу не употребили данную лексему в составе сложных метафорических выражений, вроде *время пролетело*, *уделить кому-то время*, *убить время*. С другой стороны, выражения типа *в это время* также скрывают в себе базовую метафору ВРЕМЯ = ПРОСТРАНСТВО, поскольку употреблен пространственный предлог, и точка во времени уподобляется тем самым точке в пространстве. Следует сказать, что данная тема требует дальнейшего изучения, поскольку наши информанты весьма разнятся между собой по возрасту и уровню образования. Так, например, выражение *и в то же время* встретилось в речи девушки 1976 года рождения, имеющей среднее образование, в то время как ее бабушка 1922 года рождения не употребила лексемы *время* ни разу.

Мы сравнили частотность употребления лексемы *время* в данном диалекте с частотностью той же лексемы в письменном языке (художественная и историческая литература). Средним показателем для современной прозы (просчитаны три романа, общее количество слов 130 384) оказалось одно употребление на 749,3 слова, для текста исторической работы – одно употребление на 255,4 слова. Таким образом, в историческом сочинении лексема *время* употребляется в пять раз чаще, чем в диалекте Вашкинского района.

Приведенные примеры говорят о том, что, несмотря на наличие лексемы *время* в общерусском языке, носители диалекта собственно о концепте «время» не говорят и, видимо, не думают. Гораздо чаще ими употребляются слова, не являющиеся результатом метафорического переноса значения для обозначения времени. Речь идет о таких

словах, как *поздно, утром, третьего дня* и т.п. Пространственные метафоры времени весьма редки. В целом можно сказать, что для данного диалекта отчасти справедливо то, что писал о языке хопи Б. Уорф:

Для SAE [Standard Average European] <...> характерно описание этих (временных) понятий метафорически. Метафоры, применяемые при этом, – это метафоры пространственной протяженности, т. е. размера, числа, положения, формы и движения. Мы выражаем длительность словами *long* «длинный», *short* «короткий», *great* «большой», *quick* «быстрый», *slow* «медленный» и т. д. <...> Можно составить почти бесконечный список метафор, которые мы едва ли осознаем как таковые, так как они являются единственно доступными лингвистическими средствами. Неметафорические средства выражения данных понятий, такие как *early* «рано», *late* «поздно», *soon* «скоро»... настолько малочисленны, что ни в коей мере не могут быть достаточными. <...> Поражает полное отсутствие такого рода метафор в хопи. Употребление слов, выражающих пространственные отношения, когда таких отношений на самом деле нет, просто невозможно в хопи [Уорф 1960: 150–152].

Б. Уорф не упоминает об этом, но, по-видимому, в языке хопи нет и лексемы со значением 'время'. Таким образом, Уорф довольно точно сформулировал премеафорическую стадию для языка хопи.

Все, сказанное Уорфом о языке хопи, можно было бы отнести и к удэгейскому языку. Здесь нет лексемы со значением 'время', и это понятие вообще никак нельзя выразить. В выражении *ekele anci* 'нет времени' употребляется слово *eke* 'досуг', имеющее совершенно другое значение. Даже, казалось бы, такие обычные обозначения промежутков времени, как 'день', 'месяц', 'год', на поверку оказываются понятиями совершенно иного рода, чем привычные нам. Слово *ineŋi* является наречием и означает 'днем, в течение светлой части суток', отнаречное существительное *ineŋi-ni* имеет значение 'светлая часть суток', а вовсе не 'временной отрезок, равный одним суткам'. От этого корня образованы наречия *eineŋi* 'сегодня' и *tineŋi* 'вчера'. Иначе говоря, данная лексема первоначально вообще не являлась названием временного отрезка, что и зафиксировано в словаре Е.Р. Шнейдера [Шнейдер 1936: 40]. Значение 'день, отрезок времени' данное слово получило только под влиянием русского языка. Понятие 'месяц' является переносным от *bea* 'луна'⁷. *Aŋa-ni* 'год' оказывается также не простым понятием. Во-первых, это слово не употребляется по отношению к подсчету лет при определении возраста. Для этого существует лексема *se* 'год (о возрасте)'. Кроме того, *aŋa* 'год' омонимично слову *aŋa* 'остановка в пути на ночлег', получающему путем метонимического переноса дополнительное значение 'место для ночлега в пути', 'временный шалаш, поставленный для ночлега в пути'. Можно предположить, что удэгейцы, как и другие кочевые народы, определяли время по числу ночевок (или дневных переходов), а слово *aŋa* 'ночевка' получило временное значение, переместившееся на понятие 'год'. Это также могло произойти в результате изменения образа жизни удэгейцев в XX в., поскольку раньше они не занимались подсчетом лет (до недавнего времени старики не знали своего точного возраста, поскольку их год рождения был неизвестен). Слово со значением 'неделя' отсутствует.

Ни одно из упомянутых выше обозначений временных отрезков не может употребляться с глаголами движения, подобно русскому *прошло три дня*. Более того, весьма сомнительным кажется употребление пространственных послелогов с временным значением. Таких послелогов два: *zulie-ni* 'перед' и *amæ-ni* 'сзади'. Словарь Шнейдера регистрирует временное значение только для первого из них: «*zulie-ni* – 1) перед чем-нибудь (о времени), 2) перед, *послелог*» [Шнейдер 1936: 30]. В словаре И. Кормушина [Кормушин 1998] временные значения пространственных послелогов не зарегистрированы. В наших материалах временное значение также имеется только у послелога

⁷ Ср. этимологию русского *месяц*.

zulieni, однако означает оно не 'вперед', а, напротив, 'раньше, назад': *ila aṇani zulieni* 'три года назад'⁸.

Дополнительным аргументом в пользу отсутствия в удэгейском языке пространственных метафор для выражения времени является то, как эти значения выражаются в текстах. Самым стандартным способом обозначения того, что прошло некоторое время, является повторение деепричастия *bimie* от глагола *bī-* 'быть, жить'. Двукратное повторение *bimie-bimie* означает 'прошло некоторое время'. Точно также двукратное повторение деепричастия от глагола *ḡenemie* 'идти' означает 'так [он] шел некоторое время'. В реальных текстах никогда не указываются промежутки времени, вроде русского *он шел три дня и три ночи*.

Несколько более сложная картина наблюдается в западноафриканском языке муан. Здесь имеются три лексемы, которые можно перевести на русский язык как 'время': *blā* (по-видимому, исконного происхождения), *wáátí* (из араб. *waqt* 'время' через посредство языка джула) и *tā* (из франц. *temps* 'время'). В корпусе из 50 000 слов лексема *blā* встретилась 44 раза, *wáátí* – 63 раза, а *tā* – 3 раза. Основное различие между *blā* и *wáátí* состоит в том, что *wáátí* употребляется почти исключительно в составе послеложных конструкций со значением временной или таксисной локализации действия и означает, скорее, 'момент, миг, раз': *wáátí lá bā* '(в момент) когда', *wáátí kpé bā* 'всегда (во все моменты)', *wáátí dō dō bā* 'все время (в каждый момент)' и т.д. Лексема *blā* означает 'пора, период'. Она употребляется не только в составе послеложных конструкций, но также в выражениях *v55 blā* 'пора харматтана (холодный сезон)', *ij mātrūj blā* 'пора моего детства', может употребляться с глаголом *bō* 'прорасти, появляться' в составе метафорического выражения *blā bià* 'пришла пора (что-то делать)'. Ни *blā*, ни *wáátí* не выражают представления о времени как об однонаправленной оси координат, на которой располагаются события. В этом смысле примечательно употребление лексемы *tā*. Она встретилась в корпусе всего три раза, в речи образованных горожан в выражении *tā sróó wó* 'располагать временем, иметь время (что-то сделать)'. Ни *blā*, ни *wáátí* не могут быть употреблены в таком контексте. Следовательно, заимствованное слово в муан (*blā*) означает появление определенных условий (пора посадки ямса), либо указывает на период, который также характеризуется определенными условиями («пора детства», «пора дождей»). Заимствованное *wáátí* чаще всего используется для указания на относительную хронологию действия относительно другого действия («в момент, когда (*wáátí lá bā*) я пришел, все спали»). Оно ближе к представлению о времени как об оси координат. Заимствование (французское) *tā*, скорее всего, не окончательно адаптировано языком. Оно употребляется в типичном для SAE метафорическом переходе ВРЕМЯ = РЕСУРС. На примере муан можно видеть, как изменяются представления людей о времени, что фиксируется языком.

Таким образом, можно утверждать, что премеафорическая стадия, которую Б. Уорф сформулировал для языка хопи, не является чем-то уникальным или свойственным только индейским языкам. И в удэгейском языке, и в какой-то мере в русской диалектной речи наблюдаются сходные явления – отсутствие метафор, в том числе одной из базовых ВРЕМЯ = ПРОСТРАНСТВО, которую обычно считают универсальной.

Разумеется, в случае русского языка речь идет только об определенном функциональном стиле, обслуживающем повседневное общение и отражающем предметно-конкретное мышление говорящих. В языках типа хопи данный функциональный стиль остается единственным или почти единственным. Хопи, как и удэгейский язык, как и приазовский диалект греческого языка, не призван обслуживать те функциональные стили, которые предполагают абстрактные рассуждения. В этом заключается немало-важное различие между владением хопи и владением, скажем, русским языком. При необходимости перейти к абстрактному мышлению / рассуждению говорящий по-русски должен овладеть иной разновидностью того же языка, носителю же хопи придется перейти на другой язык, поскольку хопи, по всей видимости, не обладает соответствующими языковыми средствами.

⁸ Ср. также во французском языке: *trois mois avant* 'три месяца назад' (пример, любезно подсказанный К.А. Долининым).

МЕТАФОРА, СРАВНЕНИЕ, ГИПЕРБОЛА

Очевидно, что любой из существующих языков обладает, по крайней мере, несколькими функциональными стилями, в том числе и фольклорно-поэтическим. Казалось бы, в этом функциональном стиле независимо от конкретного языка будет встречаться большое количество метафор, в том числе концептуальных. В действительности фольклорно-поэтические тексты и еще в большей степени тексты, принадлежащие к прозаическим жанрам фольклора, оказываются лишенными собственно концептуальных метафор, хотя в них широко представлены так называемые метафоры сравнения и гиперболы. Однако можно ли считать сравнение и тем более гиперболу метафорами?

Как справедливо показала А. Вежицкая, различие между метафорой и сравнением не является чисто внешним, напротив, метафора и сравнение различаются глубинными структурами [Вежицкая 1990: 142–143], которые можно представить в виде следующих мета-выражений: «принимать А за В» (сравнение) и «понять, что мнимое В это А» (метафора). Таким образом, метафора содержит в своей глубинной семантической структуре элемент отрицания, в то время как сравнение такого элемента не имеет.

Глаза загорелись – метафора; *Глаза горели, как огонь*, – сравнение. В первом случае, следуя концепции А. Вежицкой, глубинную семантику можно описать следующим образом: 'Я понял, что это были не глаза, а огонь', во втором случае такого отрицания не имеется: 'Я принял эти глаза за огонь'.

Как правило, фольклорно-поэтический функциональный стиль оперирует именно сравнениями, а не метафорами.

В качестве примера приведем данные, полученные греческой исследовательницей М. Кутитой-Каймаки, проанализировавшей значительный корпус фольклорных текстов, написанных на понтийском диалекте новогреческого языка. В статье, посвященной функционированию метафоры в этом диалекте, она уделила особое внимание семасиологии метафорических образований. Характерно, что автор не проводит принципиального различия между метафорой и сравнением, объединяя их в единый комплекс. М. Кутита-Каймаки основывалась на корпусе прозаических фольклорных текстов, которые на протяжении ряда лет печатались в журнале «*Арχειόν Πόντου*», в ее цели входила полная выборка «метафорических конструкций». Показательно, что все примеры, приводимые автором в статье, являются сравнениями (по классификации Вежицкой «не-метафорами»), т. е. включают элемент *amon* 'как': *amon likos* 'как волк', *amon therion* 'как зверь', *amon Kurtos steki atuka* 'как курд стоит молчаливый', *stek enas emorfos amon angelos* 'стоит такой красивый, как ангел' и т.п. [Κουτίτα-Καϊμάκι 1985: 35]. Поскольку автор не приводит в статье ни одной собственно метафоры, можно сделать вывод о том, что количество их в понтийском диалекте невелико.

Понтийские записи, на которых основывается исследование Кутиты-Каймаки, были сделаны в первой четверти XX в., когда для большинства говорящих понтийский был доминирующим, а во многих случаях и единственным языком. Для того периода еще нельзя говорить о ситуации «языкового сдвига». Там не менее при анализе фольклорных записей этого периода становится очевидным, что количество концептуальных метафор в понтийском того периода весьма незначительно.

Сходную картину дают записи, сделанные во второй половине 1980-х гг. у греков-понтийцев, живущих в районе города Цалки (Грузия). В этот период степень сохранности языка была еще достаточно высокой, в частности, потому что эту область не затронули сталинские депортации, и население проживало компактно, так что с лингвистической точки зрения мы имели здесь дело с непрерывной традицией [Елоева 1995].

Иная ситуация сложилась в Краснодарском крае. Греки-понтийцы были выселены в Казахстан и только через много лет смогли вернуться на родину. Тема утраченной отчизны, и ранее характерная для культуры причерноморских греков, приобрела новое звучание и прочтение, что отражено в песенном фольклоре греков-понтийцев Краснодарского края. Интересно, что количество метафор резко увеличивается в поэтическом

тексте по сравнению с прозаическим, в особенности при обращении к теме тоски по далекой родине, которая является основной культурной метафорой Понта.

В качестве примера приведем песню, записанную нами в 1994 г. в поселке Витязево Краснодарского края:

Anaθema ke ta makra	Будь проклята ты, разлука (букв. даль),
Pu den ki pai lalia	куда не доносится голос.
Ta mataem eskitinepsan	Глаза мои потемнели
Apo aroθemia	От тоски.
Ax anaθema su kazaxstan	Будь проклят ты, Казахстан.
Ki efae tin kardiam	Ты съел мое сердце.
Ta xron'æ mikos tesera	За сорок четыре года
Asprinan ta maliam	Побелели мои волосы.
Ksentija vari yoman	Чужбина, тяжелый груз,
Enshakspe so mia	Упала на меня.
Fortumato ke vozato	Несу и подымаю его,
Ke perma asin kardia	И пронзает меня до сердца.

В данном поэтическом тексте имеется ряд метафор (КАЗАХСТАН = ХИЩНЫЙ ЗВЕРЬ и т. п.). Однако метафора ЧУЖБИНА = ГРУЗ реализуется как метафора только в третьей строке (*Несу и подымаю его*), первые же две строки – по сути дела сравнение: *Чужбина, как тяжелый груз*, т.е. «подобная грузу». Это снижает метафоричность следующей строки (*Несу и подымаю его*), так как выше эта метафора уже была как бы «растолкована» слушателю. Таким образом, даже в цитированном поэтическом тексте, в высшей степени эмоциональном и образном, метафор не так уж много.

Характерным приемом фольклорных жанров, прежде всего поэтического и сказочного, является гипербола. Достаточно вспомнить устойчивые обороты вроде *рос не по дням, а по часам*, *лицом белее снега* и т. п. Эти выражения представляют собой «интенсификаторы» действия или качества и метафорами не являются. Следует различать также концептуальную метафору и аллессию, или символическое осмысление, которое также характерно для многих жанров фольклора, ср. приведенный ниже текст, являющийся вариантом известного сказочного сюжета о принце и трех апельсинах. Ясно, что *старушка*, *три апельсина* и другие детали сюжета могут быть осмыслены символически, как аллессии. Тем не менее когнитивных метафор в данном тексте нет. Это доказывает тот факт, что текст может быть понят аллегорически (например, старушка – судьба, а три апельсина – три цели человеческой жизни или что-то подобное в духе восточной притчи), но может быть понят и в самом прямом смысле: старушка – это просто старушка, пусть и волшебница, апельсины, хотя и волшебные, но это апельсины и ничего больше. Другими словами, непонимание аллессии не приводит к утрате смысла произведения, более того, аллессия, как правило, «растолковывается». Непонимание же когнитивной метафоры, восприятие сказанного «в прямом смысле» приводит к полной утрате смысла.

Для примера приведем отрывок из сказки на приазовском диалекте новогреческого языка, записанной нами в поселке Ялта Першотравневого района Донецкой области Украины в 2001 г. (текст дан в орфографии Г.А. Костоппа).

- (1) Ми та замане, ми та тирус езинь енась василеис.
В давние, давние времена жил один царь.
- (2) Афтос ишь ена пидьи.
У него был один сын.
- (3) Ена замань мийса калманица дъявинь, вастань мис та дъял шеря мис та лаянича ниро.
Однажды шла старушка и держала в руках горшочек с водой.
- (4) Василеис пидьи мит петрица есурь, цаксть калманицась лань.
Царский сын бросил камешек и разбил горшочек старушки.
- (5) Ниро тиноть.
Вода пролилась.

- (6) Афты истра иптюн тут пидьи:
И тогда она сказала мальчику:
- (7) «Наифись пас та трия пуртукаля сивдас»
«Любовь к трем апельсинам»
- (8) Иптюн калманица, дьявь.
Сказала это старушка и ушла.
- (9) Пидьи мигалинешить, сады мунизь калманата та лоя, дье тун дьугум анапаия.
Мальчик подрастал, но всегда вспоминал слова той старушки, не давали они ему покоя.
- (10) Перас тирос, пидьи инить паликаръ.
Прошло время, мальчик превратился в юношу.
- (11) Тора храст та пасшь на та вришить ту та трия пуртукаля.
И решил он идти на поиски трех апельсинов.
- (12) Паень, пирна хурия та шиеря.
Идет он через города и села.
- (13) Гута ту козулес: «Пу ень ту та трие пуртукаля?»
Спрашивает у людей: «Где они есть, эти три апельсина?»
- (14) Афти легун: «Ту та трия пуртукаля ень пула макра.
Они говорят: «Эти три апельсина находятся очень далеко.
- (15) Козимь лёгун, си дье дья пурессь на та парсь.
Люди говорят, что ты не сможешь их достать.
- (16) Афта филагнута пула».
Они очень хорошо охраняются».
- (17) Паликаръ дьявь, ивирь та пирьта пуртукаля.
Но молодец пошел дальше, нашел и взял апельсины.
- (18) Тора иризь аксаписа, ерть ту спить.
Теперь он возвращается назад, идет домой.
- (19) Ирипсь накопсь ена пуртукаль, натмать ты прама ень.
И захотелось ему разрезать один апельсин и посмотреть, что он собой представляет (букв. что он есть).
- (20) Екупсь ена пуртукаль, ап мехаксевь ена курасея.
Разрезал он один апельсин, из него вышла красавица.

При всей фантастичности рассказа, который может быть осмыслен символически (см. выше), данный отрывок содержит лишь два примера того, что можно квалифицировать как концептуальную метафору:

1) *дые тун дьугум анапаия* 'они (слова) не давали ему покоя' (СЛОВО = ЖИВОЕ СУЩЕСТВО);

2) *Перас тирос* 'прошло время' (ВРЕМЯ = ДВИЖУЩИЙСЯ ПОТОК).

Сравним указанный текст с приводившимся выше отрывком из эссе И. Бродского, где содержится более двух десятков концептуальных метафор разного порядка.

Разумеется, текст, написанный И. Бродским, будет содержать несравненно большее количество метафор, чем, скажем, обычный нехудожественный текст, однако и в последнем найдется значительное количество метафор, необходимых для размышления / рассуждения об абстрактном. Приведем сухой текст заявки на проект:

Целью настоящего проекта являются крупномасштабные полевые исследования в Приазовье, месте проживания выходцев с Балканского полуострова... Особое внимание будет уделено изучению явлений, находящихся на стыке языка и культуры...

Здесь задействованы следующие метафоры: ИССЛЕДОВАНИЕ = ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ (исследования имеют цель, проводятся на поле [боя], будут использованы карты с крупным масштабом); ЯЗЫК И КУЛЬТУРА = СТЫКУЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ; ВНИМАНИЕ = ЦЕННАЯ СУБСТАНЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.

Другими словами, степень метафоричности текста самым прямым образом связана со степенью абстракции мышления, отражением которой является данный текст.

Преметафорическая стадия языка отражает предметно-конкретное мышление. Наличие языков, находящихся в преметафорической стадии, указывает на до-абстрактное мышление людей, коллектив которых пользуется данным языком.

МЕТАФОРА И ПОЛИСЕМИЯ

Известно, что полисемия, получение словом переносных значений, происходит двумя основными путями: путем метафорического либо метонимического переноса значения.

Метафора – перенос названия с одного предмета на другой, осуществляемый на основе сходства тех или иных признаков. В основе метонимии лежат те или иные синтагматические связи: смежность в пространстве, причинно-следственные связи и т. д. [Маслов 1987: 104–105].

Так, прилагательное *зеленый* получает значение ‘недозревший’ в результате метонимического переноса значения и далее значение ‘юный, неопытный’ – в результате метафорического переноса.

Как показывают наши наблюдения, для языков, находящихся на преметафорической стадии, более характерен именно метонимический перенос значений.

Мы провели анализ словарного состава удэгейского языка (использовались словари Е.Р. Шнейдера и И.В. Кормушина, а также наши собственные лексикографические материалы). Следует заметить, что часть этих материалов собиралась в то время, когда удэгейский не был исчезающим языком, а служил единственным средством коммуникации для значительного коллектива монолингвов.

Анализ удэгейского словаря показал, что для этого языка характерна как раз не полисемия, а моносемия слов. Даже глагол со значением ‘идти, приходиться’, весьма полисемичный во многих языках, здесь имеет только одно – свое прямое значение: «*eme-ini* – прибывать, приходиться, приезжать, прилетать, приплывать, приближаться» [Шнейдер 1936: 33], другими словами, единственным значением этого глагола является прямое: ‘передвигаться (о людях или животных) в направлении к говорящему’. Его нельзя употребить ни со словами, обозначающими промежутки времени (*день, год*), ни с природными явлениями (*дождь, ледоход*), ни с абстрактными понятиями (*беда, счастье*). Для передачи подобных значений либо употребляются отыменные глаголы (*neki-gi-eni* ‘пришла весна’ (букв. ‘повеснело’), *tigde-ini* ‘идет дождь’ (букв. ‘дождит’), либо данное значение передается каким-то иным способом. Например, смысл ‘пришла беда’ можно описать через выражение *zuge b'a:ni* ‘он попал в беду’ (букв. ‘он нашел беду’). О средствах передвижения также скажут скорее *eme-gi-eni tuxizi* ‘на нартах (букв. нартами) приехал’.

Вообще для словаря удэгейского языка не характерно наличие разнообразных способов выражения одного и того же смысла. Русские выражения *мне в голову пришла мысль, мне пришло в голову* и т. п. соответствуют удэгейскому *meisi-emi* ‘я подумал’; глагол *meisi-*, в свою очередь, образован от существительного *meje* ‘мозг, мысль’. Последнее существительное оказывается полисемичным, однако это полисемия метонимического типа (орган → его функция: мозг → мысль). Другими словами, там, где русский язык дает несколько синонимичных выражений, в том числе и использующих метафору (МЫСЛЬ = ПРЕДМЕТ, ГОЛОВА = КОНТЕЙНЕР), удэгейский обходится только одним, не-метафорическим.

Слова с двумя и более значениями составляют лишь незначительную часть удэгейского словаря, при этом подавляющая часть полисемичных слов образована путем метонимического переноса значения: *dije-ini* ‘давить’, ‘сидеть на яйцах (о птице)’; *degdi* ‘лицо’, ‘стыд’, *bongo* ‘передний’, ‘впереди идущий’, ‘вождь, глава’; *gada-ini* ‘брат’, ‘покупать’. Разумеется, встречается и метафорический перенос значения, но примеры этого типа немногочисленны: *zala* ‘сустав’, ‘поколение’; *abdae* ‘лист растения’, ‘лопасть

весла'; *mafa* 'старик', 'медведь'. Последнее, правда, связано с табуированием исходного слова *songo* 'медведь'.

Интересно, что подавляющая часть таких значений образована недавно в связи с появлением новых для удэгейцев реалий. Так, глагол *punde-ini* 'дуть' получил новое значение 'фотографировать', а *uŋ-ini* 'садиться в лодку' стал употребляться по отношению к любому транспортному средству (к автобусу, поезду, самолету). Существительное *ono* 'орнамент, вышивка на одежде' получило значения 'рисунок', 'письмо', 'знание грамоты', 'все написанное или напечатанное', соответствующий глагол стал означать 'рисовать', 'писать'; слово *sē* 'род, группа кровных родственников' получило значение 'фамилия', тем более что удэгейскими фамилиями как раз и стали старые родовые названия⁹. Множество новых значений появилось у старых слов в 1930-е гг., когда удэгейский язык на короткое время стал языком школьного обучения: *xulaligi koso* 'красный угол(ок)', *muj'ei* 'целый' → *muj'ei tau* 'целое число (матем.)'.

Ниже приведено начало сказки *Симса'и* «Мизинец», записанной нами в 1991 г. в поселке Агзу Приморского края.

- (1) *Kaŋda-mafa bagdieti mamakazi zuŋe.*
Старик жили со старухой вместе.
- (2) *Læsi kesenji bagdieti lalinji zo:ŋzi-de.*
Очень мучаясь жили голодая и будучи бедными.
- (3) *Ge, od'o diancini: «Maŋtuwe olokoj.*
Ну, дед говорит: «Пампушки сварю.
- (4) *Amigda-mo:tigini xenkinzeŋi minti siteneŋi gelenezeŋi buala.*
Перед-тополем мы-преклоним-колени (чтобы) нам ребенка-нашего попросить-нам у неба»
- (5) *Mamaka xasi tugezi maŋtunisieni.*
Старуха быстро скоро хлеб-сделала.
- (6) *Maŋtunisiek talitigi ŋene:ti.*
Сделав-хлеб в-огород пошли.
- (7) *Amigda-mo:tigini xegiele:ni, kesigele:ti, ŋua:ti.*
Перед-тополем встали-на-колени, молились, уснули.
- (8) *Quami-e mamaka t'osieni: mo: dueni t'eu kaktaga:ni, utala soŋolieni ŋica ŋ'aula.*
Сня старуха сон-видит: дерева середина вся треснула, там плачет маленький ребенок.
- (9) *ŋŋule selegieni. Od'o-tene jewe-de esini t'osi.*
Сразу проснулась. Дед-же ничего не видел-во-сне.
- (10) *Sitefi zawasi ŋenieti zugditigi.*
Ребенка-своего взяв пошли домой.
- (11) *Siteti dogbo inenji jewulieni. Jewuo:ni.*
Ребенок-их ночью днем начал-расти. Вырос.
- (12) *Maŋganak, wakcalæk wo:ni, læsi mo:we mololieni,*
Сильным-стал, охотиться начал, много дерева заготовил,
- (13) *læsi wa:ni ule:we, zali tæk-tæk ede:ni, deke-de tæk-tæk ede:ni.*
много убил мяса, амбар полный стал, амбарчик тоже полный стал.
- (14) «*Ge, enini, minti sitefi ketu egdi buj weini, ketu maŋga egdi weini.*
«Ну, мать, наш ребенок слишком много зверей убивает, слишком сильно много убивает».
- (15) «*Amini-e, amin-e, minti wa:zaŋafi, ono wa:zaŋafi, ono?*»
«Отец, отец, мы давай убьем его, как убьем его, как?»
- (16) «*Ge, ogdöwe minti wozofi, ogdö.*
«Ну, гроб давай сделаем, гроб».

Данный отрывок представляет собой приблизительно четвертую часть полного текста. Он не содержит ни одного слова, которое употреблялось бы не в своем основном, прямом значении, за исключением, пожалуй, слова *maŋga* 'сильно' в значении 'очень' (строка 14). Дальнейшее изложение идет в этом же ключе. Данный текст принципиаль-

⁹ Последние два переноса значения, в сущности, также можно считать метонимическими.

но не отличается степенью метафоричности от других текстов на удэгейском языке, независимо от того, являются ли они фольклорными произведениями или обычными рассказами.

Таким образом, мы видим, что появление метафорического в языке (концептуальные метафоры, полисемия, основанная на метафорическом переносе значения) связано с некими изменениями в жизни языкового коллектива, который обслуживается данным языком. У людей возникает необходимость назвать то, что еще не имеет именования – это могут быть и конкретные предметы, и новые действия, мысли, чувства, абстрактные понятия. Напротив, общество, находящееся в состоянии культурной неизменности, не нуждается в появлении большого количества новых значений, а потому язык, обслуживающий такой коллектив носителей, будет беден метафорами.

Поскольку в прошлом все человечество жило родовым строем, подобным тому, какой мы находим в современных традиционных обществах, можно постулировать необходимость претометфорической стадии для всех языков прошлого. Разумеется, в той или иной степени метафоричность может быть найдена в любом из существующих языков (см. выше примеры метафорического переноса значений в удэгейском), поскольку метафора является имманентным приемом человеческого мышления. Однако степень метафоричности разных языков или разных функциональных стилей одного и того же языка может быть чрезвычайно различной. Можно сказать, что подобно тому, как абстрактное мышление появляется лишь на определенной стадии развития человека, также и концептуальная метафора оказывается характерной не для всех языков и функциональных стилей.

ВЫВОД

Обобщая все сказанное, мы постулируем следующие черты, характерные для претометфорической стадии развития языка:

- 1) наличие слов, обозначающих ситуацию в целом;
- 2) слабое развитие полисемии;
- 3) образование новых значений преимущественно путем метонимического переноса;
- 4) преимущественное использование концептуальной метонимии, а не метафоры;
- 5) отсутствие «базовых» метафор ВРЕМЯ = ПРОСТРАНСТВО, ЗНАТЬ = ВИДЕТЬ и подобных;
- 6) использование приема сравнения (а не метафоры) в художественно-поэтическом стиле.

Претометфорической стадии развития языка можно противопоставить «метафорическую» стадию, т. е. такую, которая оперирует когнитивной метафорой и, соответственно, обслуживает сферы, связанные с абстрактными размышлениями / рассуждениями. По-видимому, именно на этой стадии появились и слова с абстрактным значением. Этимология таких слов указывает на то, что все они являются следствием позднейшего метафорического переноса значения слов с конкретно-предметным значением. Например, русское *культура* восходит к латинскому *cultura* 'возделанное (поле)', а английское *contemplation* 'созерцание' – к латинскому *contemplatio*, первоначально означавшему 'наблюдение за поведением птиц во время гадания'. Связь многих слов, имеющих абстрактное значение, с исходными для них словами с конкретным значением остается прозрачной даже для современного носителя. Речь идет о таких словах как 'долг (моральный)' ← 'нечто, взятое на время', 'жертва (абстрактное понятие)' ← 'нечто, подносимое божееству с тем, чтобы умиловить его', 'ясный (понятный)' ← 'ясный (светлый)' и т. д. Все это говорит о том, что данные переносные значения появились совсем недавно, соответственно, лишь недавно в них возникла необходимость. Сказанное относится и к тем терминам, связь которых с конкретно-предметными словами устанавливается этимологически. Это отодвигает их появление на одну-две тысячи лет, однако этот период ничтожен по сравнению с историей человечества и человеческо-

го языка в целом. Следовательно, большую часть своей истории языки находились на преметафорической стадии, которая, как было показано выше, не приспособлена для обслуживания абстрактного мышления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова 1990 – Н.Д. Арутюнова. Метафора и дискурс // Н.Д. Арутюнова, М.А. Журинская (ред.). Теория метафоры. М., 1990.
- Бродский 1999 – И. Бродский. Катастрофы в воздухе // Сочинения Иосифа Бродского: В 7 т. Т. V. СПб., 1999.
- Вежицкая 1990 – А. Вежицкая. Метафора и сравнение // Н.Д. Арутюнова, М.А. Журинская (ред.). Теория метафоры. М., 1990.
- Воейкова, Чистович 1994 – М.Д. Воейкова, И.А. Чистович. Первые слова русского ребенка // Бюллетень фонетического фонда русского языка. 1994. № 5.
- Гаспаров 1995 – М.Л. Гаспаров. Владимир Маяковский // Очерки истории языка русской поэзии XX века: Опыт описания идиостилей. М., 1995.
- Елоева 1995 – Ф.А. Елоева. Тюркоязычные православные греки Восточной Грузии (Цалкинский и Тетрикаронский районы). СПб., 1995.
- Елоева, Перехвальская 2001 – Ф.А. Елоева, Е.В. Перехвальская. Metaphor in the situation of the language death // Metaphor, cognition and culture: IV International conference on researching and applying metaphor. Manuba, 2001.
- Елоева, Перехвальская 2004 – Ф.А. Елоева, Е.В. Перехвальская. «Преметафорическая» стадия развития языка // Л.А. Вербицкая, Т.В. Черниговская (ред.). Теоретические проблемы языкознания. Сб. статей к 140-летию кафедры общего языкознания фил. ф-та СПбГУ. СПб., 2004.
- Искусство метафоры – Аристотель. Искусство метафоры // <http://metaphor.narod.ru/review/aristotle.htm>
- Касевич 1996 – В.Б. Касевич. Буддизм. Картина мира. Язык. СПб., 1996.
- Концепт боль 2009 – В.М. Брицын, Е.В. Рахилина, Т.И. Резникова, Г.М. Яворская (ред.). Концепт боль в типологическом освещении. Киев, 2009.
- Копчевская-Тамм, Рахилина 1999 – М. Копчевская-Тамм, Е.В. Рахилина. С самыми теплыми чувствами (по горячим следам Стокгольмской экспедиции) // Я.Г. Тестелец, Е.В. Рахилина (ред.). Типология и теория языка: от описания к объяснению. Сборник к 60-летию А.Е. Кибрика. М., 1999.
- Кормушин 1998 – И.В. Кормушин. Удэгейский язык. М., 1998.
- Лурия 1982 – А.Р. Лурия. Этапы пройденного пути. М., 1982.
- Маслов 1987 – Ю.С. Маслов. Введение в языкознание. М., 1987.
- Пиаже 1994 – Ж. Пиаже. Речь и мышление ребенка. М., 1994.
- Пирс 2001 – Ч.С. Пирс. Элементы логики. Grammatica speculativa // Семиотика. Антология. М., 2001.
- Плунгян 2011 – В.А. Плунгян. Грамматическая семантика. М., 2011.
- Сепир 1993 – Э. Сепир. Избранные статьи по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Скляревская 1993 – Г.Н. Скляревская. Метафора в системе языка. СПб., 1993.
- Соссюр 1977 – Ф. де. Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.
- Стеблин-Каменский 2003 – М.И. Стеблин-Каменский. Труды по филологии. СПб., 2003.
- Тольская 2009 – М.В. Тольская. Морфология удэгейских идеофонов в сравнительной перспективе. Доклад на конференции «Сравнительно-историческое языкознание. Алтаистика. Тюркология». ИЯ РАН, Москва, 05.06.2009.
- Уорф 1960 – Б. Уорф. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.
- Фрумкина 2001 – Р.М. Фрумкина. Психоллингвистика. М., 2001.
- Шнейдер 1936 – Е.Р. Шнейдер. Краткий удэиско-русский словарь. М.; Л., 1936.
- Якобсон 1990 – Р. Якобсон. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Н.Д. Арутюнова, М.А. Журинская (ред.). Теория метафоры. М., 1990.
- Aquamotion 2007 – Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина (ред.-сост.). Aquamotion. Глаголы движения в воде: лексическая типология. М., 2007.
- Barcelona 2000 – A. Barcelona. Metaphor and metonymy at the crossroads. A cognitive perspective. Berlin; New York, 2000.

- Berlin, Kay 1969 – *B. Berlin, P. Kay*. Basic color terms: Their universality and evolution. Berkeley; Los Angeles, 1969.
- Bouquieux, Thomas 1976 – *L. Bouquieux, J.M.C. Thomas*. Enquête et description des langues à tradition orale. Paris, 1976.
- Gibbs 2008 – *R.W. Gibbs* (ed.). The Cambridge handbook of metaphor and thought. Cambridge, 2008.
- Ibarretxe-Antuñano 1999 – *I. Ibarretxe-Antuñano*. Metaphorical mappings in the sense of smell // Metaphor in cognitive linguistics: Selected papers from the 5th International cognitive linguistics conference, Amsterdam, July 1997. Amsterdam, 1999.
- Knowles, Moon 2006 – *M. Knowles, R. Moon*. Introducing metaphor. London; New York, 2006.
- Kövecses 2000 – *Z. Kövecses*. Metaphor and emotion: Language, culture and body in human feeling. Cambridge, 2000.
- Lakoff, Johnson 1980 – *G. Lakoff, M. Johnson*. Metaphors we live by. Chicago, 1980.
- Sweetser 1991 – *E. Sweetser*. From etymology to pragmatics. Metaphorical and cultural aspects of semantic structure. Cambridge, 1991.
- Taylor 1989 – *J.R. Taylor*. Linguistic categorization: Prototypes in linguistic theory. Oxford, 1989.
- Thomas et al. 2011 – *J.M.C. Thomas, S. Bahuchet, A. Epelboin, S. Fourniss* (eds). Encyclopédie des Pygmées Aka. Dictionnaire ethnographique Aka-Français. T. 10. Paris, 2011.
- Tolskaya 2011 – *M. Tolskaya*. Ideophones as positive polarity items. MA Thesis. Harvard University, 2011.
- Κουτίτα-Καιμάκι 1985 – *Μ. Κουτίτα-Καιμάκι*. Σημασιολογική ανάλυση των μεταφορικών σχηματισμών στην ποντιακή διάλεκτο // Αρχαίον Πόντου. Αθήναι. 1985. № 40.

Сведения об авторах:

Фатима Абисаловна Елоева
СПбГУ
fatimaeloeva@yandex.ru

Елена Всеволодовна Перехвальская
СПбГУ, ИЛИ РАН
elenap96@yandex.ru

Эрика Саусверде / Erika Sausverde
Vilniaus universitetas
erika.sausverde@ff.vu.lt

Статья поступила в редакцию 14.03.2013.